

Александр Левитов

«Крым»



Александр Иванович Левитов

«Крым»

«Угрюмый осенний вечер мрачно смотрел в одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигал мою рублевую экономическую лампу, потому что в темноте гораздо удобнее проклинать свою темную жизнь или бессильно мириться с ее роковыми, убивающими благами... И без тусклого света этой лампы я слишком ясно видел, что что умерло, то не воскреснет...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0015
III.....	.0025
IV.....	.0045

Александр Иванович Левитов
«Крым» [1] [2]

Угрюмый осенний вечер мрачно смотрел в одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигал мою рублевую экономическую лампу, потому что в темноте гораздо удобнее проклинать свою темную жизнь или бессильно мириться с ее роковыми, убивающими благами... И без тусклого света этой лампы я слишком ясно видел, что что умерло, то не воскреснет. Все эти пошлые и, когда находишься в редком припадке здравомыслия, комические жизненные комбинации, омертвившие меня, как бы при самом светлом сиянии солнца воочию проходили передо мной в тот вечер и несказанно бесили меня.

Но пусть не смущаются лица ваши! Вы, может быть, предположите, что я сейчас пушусь в подробные рассказы о грустных думах моих, или же вам покажется, что я хочу несчастья мои, так сказать, перелить в ваши чувствительные души и тем хоть несколько облегчить их сокрушающую тяжесть. Ничего не бывало! При всем том, что я только Jean de Sizoу, у меня всегда найдется настолько такта,

чтобы не становить вас в положение человека, которому насильно навязывают много-томную повесть о сокрушившем рассказчика горе. Такое положение, при всей его видимой приложимости к нашему заведенному обществу, до крайности исполнено комизма. Я постараюсь нарисовать вам его, насколько перо мое окажется способным к этой рисовке.

Перед вами ваш бедный, несчастный друг. Сначала вы даже обрадовались ему; только, беседуя с вами, ваш друг все больше и больше начинает впадать в меланхолический тон, так что в вашем мозге пробегает наконец желание, чтоб он поскорее окончил свою исповедь.

– Так-то вот в жизни моей все располагало меня сделаться таким, каким ты меня видишь теперь! – дрожащим от волнения голо-сом говорит вам страдалец.

Может быть, он и в самом деле имеет основание говорить таким образом, но вы, не желая дать ему заметить, что такая история вам давно уже известна и давно уже наскучила, дураковато таращите на него глаза, тщетно стараясь выказать в них ожидаемое сочув-

ствие, и думаете: «Боже мой! Что это за сентиментальный шут на меня навязался!»

Жалобы и глухота к этим жалобам, по моему мнению, – постоянная и неизлечимая болезнь человеческого рода. От века, верую, никто из людей не находил таких фраз, которыми бы он так удачно мог передать своему другу про свое несчастье, чтобы тот понял его как следует; точно так же верую и в то, что и я не найду их, да, пожалуй, если б и нашел, если бы вы даже поняли их и заплакали над моей горемычною долей, о которой я думал, не зажигая своей лампы, мне, собственно, невозможно было бы поверить искренности людских слез, потому что в моей жизни я очень много видел слез по чужим заботам и весьма мало дела, которое бы хоть несколько облегчило эти заботы.

Вам, не спору, может быть, не стоит ни малейшего труда рассказать во мне такой нечеловеческий скептицизм по отношению к обоюдному сочувствию существ, созданных быть братьями; но поверьте же и вы мне, когда я скажу вам, что прозвище мое «Иван Сизой» я имею намерение в самом скором времени за-

менить псевдонимом «Иван Сивый», потому что то постоянное самое каменное равнодушие, то самое звериное непонимание, с которыми люди, от каких я имел право ожидать совершенно обратного, встречали и мои для них жертвы, и мои на них надежды, – сделали из меня, по-настоящему, еще бы здорового, свежего малого, какого-то ни к чему не годного сивого мерина, разбитого на все четыре ноги.

Для всех вас вообще, конечно, нет большой беды, если какой-нибудь Иван Сизой, вследствие различных соображений, перемениет свою фамилию; но могу вас уверить, что, в частности лично для Ивана Сизого, нет больше беды, как тогда, когда он думает о том, куда именно разлетелись его силы, весьма необходимые ему в настоящем случае для того, собственно, чтобы не дать себя обуть в лапти тогда, когда на его ногах еще не совсем развалились кожаные сапоги. Не доказываю справедливости моей мысли на том основании, что для этого мне неизбежно пришлось бы удариться в лирический тон, с которым я дал себе слово распроститься навек, ибо ли-

ризм – враг мой. Выходит всегда как-то так, что он уменьшает цену печатного листа...

По этому случаю идиллия моя да начнется таким образом: от ненастного, осеннего вечера и от безобразных мыслей, которые тискались в голове моей этим вечером, я ощутил какую-то кислоту во рту и до смерти томившую сердце боль. А когда я нахожусь в таком состоянии, мне обыкновенно начинает хотеться чего-нибудь такого острого, чтобы обожгло горло и грудь и, отуманивши голову, вместе с тем, как говорится, отшибло бы память. Аппетит на эти вещи, говоря в скобках, свойствен более плебеям, нежели аристократам, хотя и последние, по части удовлетворения сказанного аппетита, «тоже тово»... Выражаясь определеннее, я откровенно сознаюсь в том, что, когда представления о выпавшей мне «красной» доле уже слишком загомозятся в моей голове, я обыкновенно отправляюсь купать мое горе в волнах того моря, которое погубило у нас столько же печалей, сколько и радостей...

Мир вам, погибшие жизни! *Да не в суд и не в осуждение* вам, а в знак моей искренней пе-

чали о ваших судьбах бесталанных скажется слово мое о той широкой дороге, которую по следам вашим зашагал я ко цареву кабаку.

* * *

Всепоглощающе пропастью зияли длинные улицы, где шел я. Тускло освещенные ночными фонарями, они казались какими-то неведомыми областями, где безвозвратно должно затеряться и погибнуть всякое живое существо. Так были мрачны и угрюмы лица этих каменных столичных громад, с такой пугающе силой выглядывали они из ночного мрака, что все существо ваше проникалось каким-то безотчетным томлением при виде этой силы, тем более что если бы вы глаза ваши, утомленные этой мучительной картиной, захотели развеселить блеском звезд ночного неба, на вас бы глянули оттуда серые, неопределенные массы, которые напугали бы вас более, нежели напугали бездушные здания. Волнуясь, как что-то живое, в необозримом воздушном пространстве, массы эти, казалось, быстрою мыслью летят на вас с дальнего неба – и давят и давят...

Мне очень трудно теперь, больному, пере-

дать мои дальнейшие дорожные ощущения. Я совершенно забыл тот момент, когда сознание покинуло меня. Вот, например, эту фразу говорил уже не я, а какая-то дикая машина, ударявшая кулаком по столу, уставленному графинами и рюмками:

– В прощении? Я, вы говорите, нуждаюсь в прощении моего общества, потому что безобразно якобы трачу свои заработанные деньги?

Передо мной сидел в это время юный еще господин, весь, впрочем, заросший бородой и бакенбардами. Мне и в голову не входило постараться определить себе, где и как я с ним встретился. В комнате носился удушливый чад; в чаду роились какие-то лица; где-то, весьма издалека, для моих ушей, по крайней мере, гремела музыка. Десятки тусклых свеч слепили глаза; общий шум разламывал голову.

– Чашу сию обойти весьма можно! – орала моя дикая машина в поучение господина, очутившегося со мной за одним столом. – Мне не нужно прощенья от общества, которое вынашивает в своей среде людей, способных так

пошло, как вы и я, например, пьянствовать на заработанные деньги.

– Но ежели вы не будете искать в обществе снисхождения к вашим недостаткам, ежели вы намеренно не будете воздерживать себя от оскорбления общества вашим поведением, оно непременно выгонит вас! – в свою очередь, поучал меня мой юный приятель.

– А вы думаете, – гремел я, – человек, понимающий, что он сосредоточил на себе справедливое презрение своего общества, сделается от этого изгнания несчастнее того, чем он есть? Не сделается! Тем более он не сделается несчастнее, когда будет иметь хоть какие-нибудь данные заподозрить справедливость этого презрения. А коль скоро вы имеете хоть маленькое понятие о том, как на наших базарах дешевы эти данные, вы сейчас же неминуемо согласитесь с тем, что вашу фразу об изгнании из общества можно перевернуть таким образом: я сам изгоню от себя общество, которое намеревается изгнать меня, потому что не кто другой, как только одни впечатления, навеянные на меня картинами этого общества, доставили мне честь пьянствовать с

вами в этом бездонном омуте. Я очень хорошо понимаю, что лично от себя говорить такие вещи – пошлость; но разве это даст вам возможность не согласиться со мной, что ни одна из разлучающихся сторон не прольет друг по другу слез сожаления?

– Ваше высокоблагородие, соблаговолите до шкальчика доложить отставному служивому, – вмешалась в нашу беседу пьяная, оборванная личность. – Потому как, – продолжала личность, – собственно для-ради ненасытной погоды старые кости желательно разогреть.

– Скажи мне, – спросил я старика, – ты изгнал от себя общество или оно изгнало тебя?

– Точно что, ваше высокоблагородие, «общество» выгнало меня – отставного солдата – из села, аки бы за пьянство и кражу; но мы эфтому – глаза лопни! – причинны никогда не бывали.

– Почему же ты сам не выгоняешь его от себя? Служба ответил на этот вопрос тупым и бессмысленным взглядом.

– Да! – с громким хохотом переспросил его юный господин. – В самом деле, отчего ты сам

не выгонишь его от себя?

– Позвольте папиросочкой затянуться, – с поощряющей к дальнейшим шуткам улыбкой разрешил старичина нашу спорную тему. – Стаканчик прикажете вам налить, ваше высокоблагородие? – мгновенно впадая в роль верного слуги и доброго собеседника, осведомился затем старик.

– Однако же отделаться бы от него как-нибудь! – заговорил по-французски мой юный друг, коверкаясь и даже как будто изнемогая при виде стариковской фамильярности.

– А вы, должно быть, одни хотите изобразить собой презирующее и изгоняющее общество! Вам жаль водки этому солдату!.. В таком случае я один заплачу за него, чем вы и я фактически докажем друг другу справедливость наших убеждений.

– Помилуйте! – сконфуженно произнес волосатый юноша.

Я посмотрел на него с улыбкой победителя.

Теперь мне надо доложить вам, каким образом я дошел до пошлости спорить с первым встречным, бог знает о чем, в грязнейшем трактире. Быть может, вам подумается, что такая материя не займет вас. Уверяю, что займет, и даже очень.

Сказано уже: куда, по какому случаю и за чем именно пошел я. Так вот, иду я, а на дворе осенняя ночь, – знаете, такая ночь, которая делается в несказанное количество раз приятнее и усладительнее, когда ее частый и мелкий, как из сита сеющийся дождь падает не на циммермановскую шляпу и не на бобер рубликов эдак в полтораста с чем-нибудь, а просто на клеенчатую фуражку, оставшуюся, так сказать, от летнего сезона, – когда этот дождь хлещет вас прямо по разгоревшемуся лицу, холодными струйками закатывается за воротник вигонегового мешка, приобретенного за четыре рубля у парикмахера Борисова, который, как энергично свидетельствуют «Полицейские ведомости», живет на Лубянке в доме духовной консистории.

Не могу не сказать здесь в скобках, как приятно иметь дело с сим чародеем, могущим снабжать смертных пальто за четыре рубля; потому что купленная у него покрывка главным образом и располагает к надлежащей оценке прелестей осенних ночей. Покрывка эта имеет почему-то способность делаться еще более жалкою в такую пору. Она, говорю из собственного опыта, будит уснувшую злость, располагает к подлым и омерзительным помыслам о том, как бы купить сапоги не на толкучке, а у мосье Пироне, приобрести пальто не из мастерской Борисова в доме духовной консистории, а от Боргеза или Айэ, – и главное: зазывает в голову грызущую мысль о том, почему еще не сделано тобою ничего такого, что бы стоило дороже того оборванного тряпья, которое в настоящее мгновение почти уже готово сползти с невыносливых плеч...

И в колеблющихся волнах ночного мрака, как бы какие живые картины, освещенные бенгальским огнем, восстают по этому поводу в задумавшейся голове мучительные думы о невыносливых плечах, о погибших жизнях,

об обманутых надеждах. К самой груди пригнет голову эта тяжесть, и идешь, не примечая, как резкий ветер, забравшись к тебе в самую душу, дотерзывает там источенное различными червями существование, – идешь, не чувствуя на лице хлестанья крупных дождевых капель и не видя того тусклого, унылого света, которым уличные фонари освещают унылый путь.

Таким-то образом шел я и думал по поводу борисовского изделия, висевшего на мне, до тех пор, пока обильно лившиеся из окон «Крыма» огни не осветили мне широкой площади Цветного бульвара.

Мои собственные думы всегда немеют, лишь только я ступлю на эту площадь. И в настоящий раз онемели они при виде несчастья, которое обыкновенно снует по Цветному бульвару, оглашая его и хриплыми воплями разврата, и пугающим хохотом человека, ставшего в уровень с бессловесными животными...

Опьяневши от одного уже взгляда на «Крым», я ерундисто начинаю рассуждать о тех благоприятных обстоятельствах, которые

бы могли положить конец несчастью Цветной площади, но обстоятельств этих ничуть не виделось мне во мраке осенней ночи...

Кто имеет право любить выпивку, тот вполне поймет, с каким неописанным наслаждением юркнул я, после помянутого похода, в глубокое крымское подземелье, где непременно должна закружиться всякая голова, если она имеет хоть немного желанья и причин закружиться.

Пятнадцать или, может быть, десять ступеней, которые ведут в рекомендуемую мною могилу, не великая беда. Мы пройдем их если не без толчков, за которыми, по пословице, не угоняешься, по крайней мере, без особенных приключений.

– Господ уж стал сюда черт носить! – бурлит с злостью какая-то толстая колонна с большой черною бородой, выкатываясь снизу навстречу к нам.

Избави вас бог спрашивать у колонны, что ей за дело до вашего визита в «Крым»: на дворе такая темная ночь...

– Извозчик! – кричит молодой парень, видимо, мастеровой. – Что возьмешь на Деви-

чье поле? Там ты меня подождешь, примером, пять минут, с Девичьего поля на Покровку, там тоже пять минут, с Покровки к Сухаревой и духом назад.

– Што взять-то? – спрашивает один дядя из целой толпы извозчиков, облепивших «Крым» своими калиберами[3]. – Давай целый.

– Облопаешься неравно! – с укоризной предполагает молодой пареньь.

– Сколько же дашь-то?

– Сколько дам-то?..

– Да, сколько от тебя будет?

– Трынку! – с хохотом отвечает пареньь, быстро сбегая в подземелье.

– О-ой, батюшки! Шлею с лошади в одну минуту сняли! – кричит кто-то за трактирным углом.

– Вот нам и чай! – продолжает хохотать промелькнувший сейчас пареньь, затворяя за собою визглявую трактирную дверь.

– А-а, чертов сын, попался! Мы тебе дадим таперича, как у своих извозчиков шлеи воровать.

Вслед за этими словами слышатся глухие

удары обо что-то, будто кто в пустую бочку для своего удовольствия колотил собственным кулаком. Подумать, впрочем, чтоб это били человека, – нельзя было, потому что человек тот, по всем соображениям, непременно должен бы был закричать от этих ударов.

– Што тут такое? – вопрошает басистый начальственный голос, очевидно, принадлежащий городовому.

– А вот шлею украл.

– Кто ж это?

– Кто? Известно хто! Все Евланька Фуфлыга бедокурит.

– А! – строго вскрикивает басистый голос. – Так ты опять у своих воруюшь?..

И замолкшие было удары раздались с новою силой.

– Брось его, судырь! – просят ундера уже сами извозчики. – Отойди уж ты лучше: мы его без тебя-то своим судом прокладней отделаем...

– Смотрите вы у меня, чертоломы! Душу что-бы не тово...

– Што-о на-ам ду-у-шу? За-а-чем нам ее? – отвечал кто-то, судя по тону голоса, к чему-то

напряженно прикладывая руки.

– Батюшки, отпустите! Голубчики, дух у меня совсем займется!..

– Завопил небось! Мы те, ворище, не так разбодрим. Ночью гораздо больше, нежели днем, действуют на душу такие крики: так зло моргают уличные фонари, слушая их, и к тому же ночное небо такое серое, такое безучастное повисло над ними!

Вы как будто испугались этой маленькой отечественной сценки и уже боязливо ступаете назад. Напрасно! Она в моих глазах заключает в себе тот аромат национальности, который всегда притягивает меня к «Крыму», как пахучая гречиха притягивает к себе работницу-пчелу.

Повинуясь этому тяготению, я отверзаю трактирную дверь. Крикливое визжание рокового блока достойно приготавливает нервы к безболезненному восприятию сцен, разыгрывающихся в оригинальном подземелье.

Сначала ничего и не разберешь, потому что клубы густого и однообразно пахучего воздуха не вдруг показывают посетителю частности русской оргии. Они повисли над

новым человеком плотною тучей, как бы пристально осматривают его, желая прежде узнать, рожден ли он с способностью участвовать в укрываемой ими каше или нет.

Кто благополучно проминет этот осмотр, тот пусть смело идет дальше: оргия уже не испугает и не оглушит его своим дружным и никогда не прерывающимся ревом. Надо, впрочем, сказать, что и такой счастливойловище покажется на первый раз, что этот тысячезвный шум происходит не от множества людей, крутящихся в подвале, а что самый подвал этот, его толстые серые стены, его маленькие грязные оконца, его закопченные потолки и мебель, газовые рожки, торчащие в стенах, и длинноногие столовые подсвечники – все это, как что-то живое, будто обрадовавшееся новому гостю, двинулось к нему навстречу и заорало этим могучим гулом.

Но, говоря об этом вакхическом вихре, я или должен лить воду для того, чтобы не услышать упреков в излишнем лиризме, или, рассказывая о том, как под мрачными сводами харчевни экстазически бесновалась песня

солдатского хора, как сияли лица, певшие и слушавшие ее, какими сердечными воплями радости и наслаждения отзывалась русская природа своим родным мотивам, – я сгорю в пламенном ливне жгучих фраз, который неизбежно польется с губ моих, когда я отдамся изображению этих, исполненных неудержимой страсти и невыразимого своеобразия, сцен.

Но что мне за дело до людских попреков, от которых ушел я сюда! Разве они не помогут мне забыть все на свете – эти скорбно-могучие мотивы родной песни!

Вот они всего заливают меня. Ого! Как здорово выносит их крепкая солдатская грудь! Бубен – так и тот ничуть не заглушает ни однообразную басовую ноту, которая невообразимо терпеливо тянет:

*Сво-во празд-нич-ка дож-ду-ся,
Во гроз-на му-жа вцеп-лю-ся! —*

ни горячих переливов занозистого тенора, с злостью подхватывающего:

*Во грозна му-жа вцеп-люся,
На смерть раздеруся!*

И фистула тут же – этот кудрявый, белокурый, маленький кантонист... Господи! Какими грустными, какими раздирающими тонами покрывает весь хор его серебряный голос:

О-о-о-ох! На смерть раздеруся!

А опять: этот черный кузнец-плясун, в пестром халате, в сапожных обрезках на босую ногу, в истасканной фуражке на бедовой голове, – как это он бойко и выразительно блеснул в толпу своими черными глазами, как незаученно ловко тукнул о пол толстою подошвой, когда хор дружно грянул изо всех грудей заключительную строфу:

На смерть раздеруся!

Оглушительный вскрик тенора, слившись с трелями колокольчиков бубна, закончил песню. Весь «Крым» бесновался до неистовства. Один молодчина упал на четвереньки и ревел от наслаждения, как дикий зверь.

– А-а-атлична! – кричал он. – Подать солдатам водки на пять целковых!..

Только что спетая песня еще пуще разожгла Торгию. Новые толпы ввалились в подземелье. Вскоре между прибывшими гостями и гостями старыми завязались драки из-за столов. Четвертаки за одну только очистку сиденья давались бесспорно даже такими людьми, которые, судя по их жалким отрепьям, четвертака во сне никогда не видали. Как собаки по стаду, метались половые в публике, усмиряя ее порывы; городовые, строго покручивая рыжие усы, тоже маршировали по залам, как бы высматривая что-то; но ничего не усмиряло публику. Она отдалась влиянию полночного кутежа и, нисколько не стесняясь рыжими усами, могуче бурлила.

– Што, дяденька, ходишь? Ай тятеньку с маменькой высматриваешь? – спрашивает ундера молодой мастеровой с красною, как огонь, физиономией, с игриво горящими глазами. – Не бывали еще ваши, сударь, тятенька с маменькой. Вот мы таперича без них и погуливаем. Хорошо погуливаем, а?

Ундер бросает на парня взгляд, исполнен-

ный самого магнетического сурьеза, и приказывает ему посократить безделицу горло-то, на том основании, что он еще сосунок, которого из трактира следует по затылку турить.

– Ты-то стар ли? – спрашивает мастеровой ундера.

– Я-то стар! – с сознанием собственного достоинства отвечает полицейский.

– Постарее тебя у нас на селе кобели важивались, иначе же мы им хвосты знатно гладили.

– Это точно! – подхватывают с хохотом на других столах. – Гляди, как бы и тебе не погладили хвоста-то, а то он у тебя сер что-то, хвост-от.

Ундер в немалом конфузе ретируется в другую залу, стараясь, однако же, так устроить свое отступление, чтоб оно вслух говорило, что мы, дескать, грубостей таких не слышали, а то бы беда была...

– Напрасно вы к этому ундеру, господа, своих рук не приложите, – говорят некоторые кринолины, – мужчина самый что ни есть необразованный и гордый.

– Что ушло, то не уплыло! – отвечают гос-

пода кринолинам. – Попадется в руки, натерпится муки.

Между тем великосветские манеры моего случайного знакомого неимоверно бесили меня, потому что чем дольше сидели мы с ним в зловонном трактире, тем больше он пропитывал харчевенную атмосферу своими тончайшими духами, так что самые нахальные крымские глаза без какого-то смущения и даже как будто бы страха не могли выносить блеска опала в его золотой булавке, и в то время, когда, казалось, самые стены подземелья хотели лопнуть от шумного скопища, тискавшегося в нем, около нашего стола непонятным образом был некоторый простор.

«Черт его побери совсем! – злобно думал я про моего элегантного друга, – угораздит же человека, одетого в такую изящную жакетку, в галстухе которого блестит, наконец, такое сверкающее произведение фульды, затесаться в „Крым“! Кажется, мне придется хорошенько раскровянить его».

И, клянусь вам, раскровянить этого молодца непременно бы следовало, потому что его

барство до крайности напугало присевшего к нашему столу старого солдата. По его заду-мавшемуся лицу я очень хорошо видел, что солдат так же, как и я, с большим удоволь-ствием съездил бы в физиономию к баричу. Несмотря на мои поздравления с *поднесенье-вым днем*, которыми я хотел расположить во-ина к усердной выпивке, он весьма нерешит-ельно и с большим сомнением опоражничвал рюмки, видимо, стараясь улизнуть от нас, и если что-нибудь удерживало его от исполне-ния этого желания, так опять-таки опасение, чтобы франтовитый барич не учинил с него за это бегство какого-нибудь строгого взыска. Видя такое фальшивое положение, в которое компаньон мой, хотя, может быть, и неумыш-ленно, ставил солдата, я с каждой минутой все больше уподоблялся бульдогу: в моей гру-ди довольно громко слышалось, обыкно-венное у меня в подобных случаях, хриплое ворчанье, потому что на людей, имеющих возможность устраивать другим положение вроде такого, в каком был отставной солдат, я не могу смотреть без бешеной злобы. Это мой недостаток, и говорить мне про него реши-

тельно не следовало бы, но надобно же наконец карать общественные пороки. Я и караю их в моем собственном лице.

Обвиняйте, сколько угодно, мой эгоизм, ежели вам это понравится; но ведь я зачем пришел в «Крым»? Я пришел в «Крым» с тою целью, чтобы смотреть целую ночь многообразные виды нашего русского горя, чтобы, смотря на эти виды, провести всю ночь в болезненном нитье сердца, не могущего не сочувствовать сценам людского падения, – чтобы скоротать эту ночь, молчаливо беснуясь больною душой, которая видит, что и она так же гибнет, как гибнет здесь столько народа.

И вот когда уже настолько всмотришься в эти сцены, что по лицу каждого актера, участвующего в них, сразу будешь узнавать его жизнь, столь трагически заканчивающуюся теперь в кабаке, когда весь этот шумный рой лиц будет казаться тебе чем-то целым, самым тесным образом родственным с тобой, когда, наконец, в этом непонятном, как шум волн морских, гуле толпы я приучился слышать стоны заблудшего брата, – в это время между этой беснующейся толпой и мною вдруг стала

посторонняя, безучастная фигура, приличная сама по себе и вдобавок, как бы назло, старающаяся казаться еще приличнее.

«Разве он не мешает тебе?» – нашептывало мне что-то донельзя ощутительно засевшее в моей груди под самую ложечкой.

«Я отойду от него: он мне действительно мешает», – отвечаю я шепоту.

«Отойдешь? – презрительно вскрикнуло что-то в груди у меня. – Вот так воитель! Ха-ха-ха-ха!» – раскатывается оно звонким хохотом, покрывшим собою все крымские голоса.

Мне казалось, что все слышат этот хохот и смотрят на меня. С какою-то стыдливою боязнью я поникнул на стол головою, чтобы не видеть ожидаемого взгляда.

«Вот так воитель! – повторяло выскочившее из моей груди какое-то маленькое существо, вроде козлика, быстро прыгая по стаканам и рюмкам, наставленным на столе. – Тут не отходить нужно, а сцепиться нужно с ним насмерть. Либо тебе, либо ему! Вот как сцепиться, чтобы другие к вашей драке и подступиться боялись!..»

«Да за что же я драться с ним буду?» – спра-

шивал я козлика, как бы умоляя его, чтобы он не наказывал меня в случае, если б я не стал драться.

«Как за что? – азартно кричал на меня бесенок. – Не видишь разве, как этот фронт издевается над крымскою грязью? А ты сам разве не та же крымская грязь? Ну-ка размахнись во всю руку да царапни его хорошенько. Видишь, как он булавкой своею заслепил всех, как все сторонятся от нашего стола? Ты, впрочем, может, думаешь, что он лучше „Крыма“?»

«А ежели крымскую грязь отстраняет от этого господина не один блеск его булавки, – возражаю я моему искусителю, все еще лежа на столе, – но и...»

Бесенок не дал закончить мне мою речь.

«Ах ты, шут гороховый! – заорал он на меня своим пронзительным голоском. – Ну, договаривай: „но и нечто магнетическое, пожаром горящее в черных, бездонных глазах величественного незнакомца, потрясало до самого основания дикую толпу невежественной черни“... Пьяный паяс! – в крайнем гневе ругало меня маленькое существо, – когда пере-

станешь ты так пошло лиризировать?»

Разозлившись, в свою очередь, на чертенка, я бросился ловить его, но он, как молния, летал по залитой вином салфетке и с насмешливыми гримасами орал мне:

«Какой же ты Иван Сизой, когда не можешь дать трепки этому барину! Ты после этого просто-напросто негодная дрянь, а не Сизой».

– Ну, господа, – звучал в мои уши чей-то толстый бас, – барин-то, надо полагать, до чертиков тюкнул. Вишь, пальцами-то как перебирает. Представляются теперь ему черти-то: вот он их и ловит.

В моей голове, чувствовал я, будто бы птица в клетке, билось и трепетало что-то. Я старался уверить себя, что это пройдет, и продолжал гоняться за ругавшим меня чертенком.

– Было нас трое братьев у бабушки, – слышался мне чей-то голос, – а бабушка у нас по старой вере был и все мы тоже по старой вере. Годов тридцать тому уж прошло. Выучил нас, братьев, читать один старец. Ну и пошли братья по своей торговле, а я к книжкам очень припал. Такая, то есть, охота учиться у

меня была, – ночи, бывало, не сплю, думаю, как бы это мне книжку получше достать. Только познакомься я в это время с студентом одним, – все он у нас в лавке чай и свечи покупал, – видит он такую мою охоту к ученью и говорит: «Беспрерывно вам надо в университет поступить, потому способности имеете чудесные». – «Тятенька, – говорю я отцу после таких речей, – наймите мне учителя, потому я в университет поступить имею желание». Как же со мной поступил тятенька?.. Взял меня, обратил лицом к двери и швырком на крыльцо бросил. «Вон! – говорит. – Чтобы нога твоя на мой порог не ступала!» Только все же я от швырка того горбы теперь и на спине и на груди имею... Не сробел я, однако. На своей воле, думаю, еще свободнее мне будет свое удовольствие сделать. Торговать стал и на пятый год в двадцати тысячах был. Узнал про это отец, напустил на меня людей, которые со мной тяжбу затеяли и в какой-нибудь год, таскаячи по судам, совсем меня разорили. Пришло дело к концу, я опять принялся и опять разбогател. Только и тут отец мне не дал покою, опять разорил, потому капиталы

у него и знакомство везде, – не всякий с ним сладит. Да так-то он меня, судари мои, три раза с корнем вон вырывал! В четвертый я уж и пробовать не стал. Заодно, мол, погибать-то!..

«Совсем позабыл, кто написал эту песню?» – думаю я про себя, потому что во время этого рассказа расстроенная шарманка наявливала какие-то мотивы, каких я отроду не слышал.

*Я, донской казак,
В тяжкий плен попал... —*

уныло напевал кто-то, должно быть, подле самого нашего стола.

«Да! так это донской казак написал эти стихи», – припоминаю я и чувствую, что мне очень хочется спать.

«Слышал?» – спрашивает меня чертенок, балансируя на носике чайника.

«Слышал», – отвечаю я.

«Что же не бьешь?»

«Не могу».

– Да выпейте стаканчик водицы, пожалуйста-ста! – упрашивал меня отставной солдат. – Ей-богу, сразу бы вас отпустило!

– И воды не могу.

– Да вы поневольтесь.

«Не можешь? Так-таки и не ударишь?» – настойчиво пристает ко мне миниатюрный козлик.

«Не могу».

«Пьяный шут!» – кричит он мне и, уклоняясь от моего порывистого за ним движения, быстро перелетает с носа чайника на газовую трубку над моею головой. Я бросаюсь за ним к газовой трубке, но он уже, видимо для меня, обратился в синий летучий дым, который насмешливо колебался в своем полете к мрачному трактирному потолку на высоте, недоступной для моего роста.

Бурный трепак бушевал между тем в зале. В одно и то же время мне страшно хотелось и смотреть на этот трепак, и поймать чертенка; но, почувствовав наконец, что ни одно из этих желаний исполнено быть не может, я горько заплакал...

– Не мог-гу! – враз отвечаю я и солдату, усиленно потчеваящему меня холодной водой, и самому себе, когда лихая дробь низалась мне в уши и сманивала вскочить со стула,

крикнуть изо всех легких: браво! и вырезать с плясуном по злейшему стаканищу.

– Как же мы, как мы жить с тобой будем? – спрашивал тоскливый женский голос. – Ведь он меня, барин-то, сам сюда подвез. «Вот, говорит, теперь твое место, а мне ты не нужна больше».

– Это нам единственно все равно, – смело отвечал кто-то на этот голос. – Потому как с самого того дня, как тебя к барину на сени взяли, а меня по оброку угнали, ни разу ты у меня из ума не выходила.

– Ведь дела-то делать, – продолжала женщина, – я ни одного не умею, кроме как чай по целым дням пить да платья дорогие носить. Я тебе, голубчик ты мой, большой тягостью буду, пока к работе не привыкну ко всякой.

– Об эфтом ты не крушись! Помаленьку привыкнешь.

Маленький чертенок вытянул в это время ногу свою так длинно, что с потолка достал ею до моей головы. Поталкивая меня ногой и в голову и в спину, он с какою-то презрительною злостью спрашивал меня:

«Пьяное животное! И тут не ударишь?»

«Не видишь разве, что не могу? Отстань!» – мысленно только мог отвечать я ему, потому что язык мой не ворочался, отчего я зарыдал сильнее прежнего. Впрочем, не от одного только отсутствия надлежащей силы в языке моем рыдал я. Все, что только мог я расслушать изо всего этого гула, издаваемого крымскою ватагой, непременно были только одни рвавшие душу жалобы на горькую участь.

Вот перед нами маленькая безобразная старуха, давным-давно обрусевшая полька. В ней решительно нет следов человеческого образа: так передернули и изморщили лицо ее зверские нужды.

– Будет, бабушка, показывать тебе виды Берлина и Лондона, Баден-Бадена и Ниццы, – ты лучше расскажи нам, как ты сама очутилась у нас.

Дрожит и трясется старуха, принимая угостительную рюмку. Обрадовалась она доброму случаю, дающему ей возможность хоть несколько времени покипеть старым, охладевшим телом.

– Вот здесь родилась я, – начинает она свой

рассказ и подводит к своей панораме, где, освещенная тусклою сальною свечой, показывается гордая Варшава. – Пустите-ка, пустите-ка, я сама посмотрю: давно не видала, – и старуха впивается глазами в родную картину. – Мати божия! – вскрикивает она, – как хорошо здесь было! Я забыла, сколько времени прошло тому, – прибавляет бедная в тяжелом недоумении, как будто до настоящего мгновения она верно помнила длинный срок того времени, а теперь вдруг забыла. – Наехали в эти места жолниржи[4] ваши, а я тогда красавицей была: всех огнем палила. Маленькая такая, черная, – старуха становится в бойкую позицию и показывает, какая она была маленькая, черная и как она всех огнем палила. – Увез жолнирж – и бросил!.. – грустно повторяет она таким тихим, молодым голосом, который всякому воображению непременно представил бы, как ее, грациозную и полную страсти, увозили тогда паны-жолниржи на свою потеху и ее страданье.

Обыкновенная история; но не понимающие эффектных драм люди отовсюду говорят старухе:

– На-кась тебе, бабушка, семитку.

– Поди, я тебе покажу нашу Варшаву, – благодарит старуха.

– Рюмочку, старушка, поди пропусти!

– И тебе покажу. Погоди только немного.

Что, лучше небось Москвы-то?

– Москва, бабушка, прямо тебе сказать, не в пример лучше Аршавы.

– Папиросочки не хочешь ли? – спрашивает у польки кринолин, внимательно следивший за ее рассказом.

– Не курю я их, милая. Тогда девушки не курили, а у вас не привыкла.

Кринолин конфузится.

– На вот, бабушка-голубчик, продай кому-нибудь, – и при этом кринолин, в сильном замешательстве, сует старухе потертый бумажник. – Я вот только папироски выну.

– Самое, надо полагать, кто-нибудь так же обманул, вот и разжалобилась, – говорит закутившая чуйка. – Сейчас умереть, я теперь эту самую девку всем сердцем моим возлюбил!.. Эй, милая, сядь-ка к нам, воротись!

Кринолин послушно возвращается к столу кутилы и садится.

– Можешь ли ты понимать честь? – спрашивает чуйка девушку.

– Могу, – отвечает она без запинки.

– Так ты ее и понимай! Я с нонешнего дня даю тебе содержания десять рублей кажинный месяц. Донскова!

– Чудесно! – лютуют припевалы. – Андрей Ильич, уважь, милый человек, попляши!

– Умеешь плясать? – спрашивает у девушки раззадоренный Андрей Ильич.

Еще бы не умела плясать крымская старостиha, эта Волга-девka, увенчанная стразовой диадемой!

– Ярославка, што ли? – спрашивает Андрей Ильич, ухарски драпируясь для предстоящей пляски своею синею чуйкой.

– Оттуда были! – отвечает старостиha, водушевляясь лихими манерами Андрея Ильича.

– Ну, мы с Дона! Густая толпа окружает их.

– Валяй Спирю почаще! – кричит Андрей Ильич музыкантам, и при первых коленах его в воздухе повисли и дружный хохот, и загвоздистая похвала.

– Дашка! Не выдай московских-то! – умоля-

ет старостиху оборванный кузнец, первый крымский плясун, в сапожных обрезках. – На свою сторону приедет, хвастать будет: никто-то-де его не переплясал у нас, – поощрял он Дашу, дрожа и замирая в лихорадочном волнении.

Гикает и гогочет, как казак в бою, Андрей Ильич, и за ним все гикают и гогочут, потому что, ровно огненный змей, жжет и палит он всех своею жаркою пляской степною. Вприсядку сел он, так-то и кружит, – кружит и соловьем голосистым свистит. Полштоф целый по самым маленьким рюмкам одному можно было бы разобрать в то время, как он козловыми каблуками крымский пол бороздил. А она, старостиха эта, все голубкой, голубицей такой ласковой вьется около него, словно с крыльями.

– Где такая девка родилась? – кричат.

– Э-эх, кабы не бедность!

А она все вьется около Андрея Ильича. Вилась, вилась так-то она да платьем своим голову казачью вдруг всю и закрыла – и посмеивается.

Тут и вспомнил «Крым», что это за мужик

такой Спиря, смешливый Спиря мужик; всякому он норовит ногою нос утереть.

Близким громом загредел «Крым», когда вспомнил про Спирю.

– Вот он какой, Спиря-то, – орут двадцать голосов.

– Тут, брат, огнем не возьмешь!

– А возьмешь тут смешками.

– Верр-но! Молодец, Даша!

– Истинно лучше! – шумно соглашается с толпою казак. – Только же не может женщина ничего лучше нашего брата сделать... Валяй степную, братцы! – кричит он музыкантам. – На барыню переворачивай!

Замерли все. Тишь как в могиле стояла, когда первая скрипка на квинте потянула свое протяжное вводное и-и-я-ах!..

Молнией сверкнул на струне первый слог огненной песни. Дружно подхватили его другие скрипки, контрабас и звонкие флейты; но всех их заглушил своим ахом запыхавший Андрей Ильич – и пошел...

Сыплется частая дробь, будто осенний дождик в стекло, воет Андрей Ильич неудержным ветром степным и прет в толпу

черными глазами, так что дыхание у всех захватило, страх обуял.

– Ступнуть не дам, девка! – злобно и страстно кричит он уничтоженной Даше. – С белого света как былинку сдую!

– Братцы! – умоляет кузнец-плясун, – кричите скорое: ура! Где ж нам, московской голь-тяпе, по-евоинному...

– Ур-рра-а! – берут враз сто грудей.

– У-р-рр-а! – подхватывают сидящие за столами.

И летит это ура, как какая грозная буря, в другую залу, увлекая за собою все дышащее в трактире, оттуда стремится на крыльцо, на вольный воздух и, здесь схваченное извозчиками, пронизывает собою густой мрак осенней ночи и, наконец, тихо улегается на липовых вершинах соседних бульваров, распугивая усевшихся на ней грачей и ворон...

– Тише, господа, пожалуйста, потише, – уговаривает публику седой приказчик, – полиция, пожалуй, придет, что толку?

– Поди ты, старый черт! – азартно отвечают ему.

– Ласточка ты моя! – нежно говорил старо-

стихе Андрей Ильич. – Уж где тебе тягаться со мной! Потому вряд ли кто на сем свете и может со мной потягаться...

Старостиха, слушая его, была такая смиренная, такая ласковая.

IV

Все дело, следовательно, в моих глазах по крайней мере, остановилось на следующем: «Крым» бесновался и неистовствовал, мой приятель свысока смотрел на этот спектакль, а я, облокотись на стол, рыдал болезненно о всем «Крыме» и злился на приятеля.

Но это громовое ура, сейчас только огласившее своды харчевни, разбудило меня, и я со стыдом заметил, что ни к рыданию, ни к злости повода у меня самого даже коротенького не имелось, ибо все шло своим чередом, и ежели из всей этой сумасшедшей толпы, включая в нее и моего приятеля, был кто-нибудь ненормален, так один только я, ловивший своего чертика.

Мой случайный знакомый на мой вопрос: кто он, когда и где я с ним встретился, благодушно уверял меня, что он будто бы один из шести московских корреспондентов «Санкт-Петербургских ведомостей», а также имеет основание думать, что будет вызван сотрудничать в «Голос», что, наконец, он приехал в «Крым» с целью заpastись в нем мотивами

для передовых статей в эти газеты.

– Вы, может быть, Ботиков? – спрашиваю я его, желая короче познакомиться с человеком такой блистательной деятельности.

– Нет! – отвечал он, мотая головой и, видимо, пьянея.

– Дивово, может быть?

– И не Дивово! – отвергает он, радостно всхлипывая. – Я – Восходящее Солнце! Вот мой псевдоним. Настоящее же мое имя не должно быть известно никому, потому что я намерен затрагивать такие вопросы... о таких общественных ранах я буду заявлять на столбцах наших уважаемых газет, о которых до сих пор не плакал ни Николай Филиппович Павлов, ни наш тамбовский гегелиянец – *фон-Чичерен*[5], – с азартом уже совершенно пьяного человека орал он так громко, что я не мог не сказать себе:

«Однако же этот шут любопытен! Посмотрим-ка на него попристальнее и, если он составляет рану на нашем общественном теле, постараемся заявить о нем на столбцах наших, хоть не уважаемых, газет».

Увы! К крайнему моему огорчению, фронт

оказался даже не раной, а просто прыщом. Навязавшись на знакомство с ухарским Андреем Ильичом, Восходящее Солнце ломалось самым пошлым манером, стараясь показать себя русским человеком.

– Какая здоровая натура! – в пьяном экстазе говорило мне Солнце про Андрея Ильича. – И старостиха – тоже здоровая натура. Ее надо поднять, непременно нужно возвысить, так сказать... Это наша прямая обязанность, – и, воодушевившись, он подарил старостихе свою изящную золотую булавку.

– А ты мне, как хочешь, Андрей Ильич, а на платье на хорошее подари, – говорила старостиха Андрею Ильичу, – потому как только имей я шелковое платье, – коси малина! Минуты бы одной в «Крыме» не пробыла...

– Пре-е-красно! – мямлило Восходящее Солнце. – Возвратись, старостиха, непременно возвратись к прежним мирным занятиям, на путь добра и чести...

– Ах ты, кобылятник! – ласково выругала советника старостиха, предполагая, что он своими шутками хочет ее привести в конфуз.

– Какая, Федичка, вчера история случи-

лась, так ты издивиться должен! – рассказы-вала совершенно изнемогшему мастеровому толстая женщина в фантастической повязке. – Часа в два ночи спим мы так-то; вдруг в окна забубенили. «Есть?» – спрашивают. «Есть!» – говорим. «Поедем, да живей у меня собираться, а то, говорит, раму вон выколочу». Приезжаем в одну гостиницу, – пьяные все, лыка не вяжут. Только как я теперича всю политику произошла, знаю уж, что по-просту, без затей обходиться с ними лучше будет, и говорю им: «Что же, мол, вы, подлецы эдакие, привезть привезли, а водкой не потчуете?» Как тут бросится один на меня с столовым ножищем. «Я тебе, говорит, тварь ты эдакая, дам ругаться!» А другой, с такой ли бородицей большою, на него заорал: «Не смей, шумит, трогать ее, – она женщина!» Кричали-кричали они так-то, кулаки-то друг на друга насучивали-насучивали, только заступник-то наш схватил пистолет со стенки да и бацнул в приятеля. Слава богу, что не попал! «Моли бога, говорит, что не попал я в тебя, а мои убеждения честны». Долго я над ними смеялась. Вот, думаю, дураки-то необуздан-

ные! Только вслух я этого не сказала им, потому очень уж азартны.

– А хочешь, я тебя изобью? – спрашивал рассказчицу мастеровой, приходя почему-то в бешенство.

– Ну, уж это не хочешь ли вот чего? – в свою очередь, спросила рассказчица, показывая кукиш.

– Уйди, барин! – шумел на Восходящее Солнце Андрей Ильич. – Не твое здесь место.

– Как ты смеешь так говорить со мной?

– Так! Не мешай – вот и все тут.

– А как я тепеиця с гусалем по нацалу зия, – раздавался картавый, охрипший голос из другого угла, – холясо тогда бия! Ми с гусалем в общество езживали, а в обществе, бивая, цай-то с сейебъяними лезецкамп подавайся.

– Што же ты, братец ты мой, смотрел на него! – толкуют между собою два подозрительных персонажа. – Ты бы часы-то у него и чирикнул.

– Чего-чего не делал. Уж и пил-то я с ним вместе, и обнимался-то. Ничего не поделал, потому из наших никого не было, – кому передашь?

– Эх ты! Кому передать – спрашивает. В любой уголок положи, – не скоро найдут.

– Не сдогадался.

– А я, однава дихнуть! – выкрикивал картавый голос, – сказю, биваля, гусаеву деньсику: съюзи мне, Семен! Не посьюсяться он меня не смей тогда, потому от баина пьиказание такое быя ему, стобы он меня все явно как баиню съюсяйся.

– Ах ты, шкура! – кричит слушатель. – Што ж, Семен всегда тебя слушался?

– Всегда, ей-богу, всегда! Тойко тогда усь, как гусай ухай, и как у него за фатею впеёд за два месяца зпьяцено быя, я на той фатее и остаясь зить. Думаю, зачем даем деньгам пьяпадать? Тут Семен без баина-то и вздумай меня пьягонять. Ах ты, гаваю, халюй язнесцятний! Как ты смеесь меня пьягонять? А он меня взял да по сее. Я и усья.

И картавый голос в этом месте своего рассказа перешел в слезные тоны.

– Што же ты плачешь-то, глупая? Ты вот выпей лучше.

– Нет! Не хоцю я пить. Я тебе пьямо сказю: я без гусая зить не могу...

– Ах ты, чудище морское. Нализалась, и жить не могу, кричит...

– Не бей ее! Слышишь ты, Андрей Ильич, не тронь ее! – умоляло Восходящее Солнце заезжего донца, который колотил старостиху.

– Не твоего ума это дело! – кричал рассви-репевший Андрей Ильич. – Як ней всей душой, а она с моим товарищем, на моих глазах, заигрывать принялась.

– Это ничего! – твердил оригинальный псевдоним. – Она исправится, ее только возвысить нужно.

– А вот я ее возвышу.

Восходящее Солнце попробовало было помешать Андрею Ильичу, но получило такой толчок, от которого завертелось кубарем.

– Я тебе говорю: пей! – приставал к картавому голосу какой-то мужчина.

– Я не буду пить! Я без гусая зить не могу! – слезно объяснял картавый голос грозному приказчику.

– Я с тебя дурь-то эфту собью! – с злостью рычит мужчина, и вслед за этими словами раздается звонкая пощечина.

– Бей, а не могу я зить без гусая... Там в об-

цестве-то сейебъяние лезецки подавались.

– За што ее бьешь? Што же, коли она, в самом деле, без своего полюбовника жить не согласна? – вмешивается какой-то угрюмый сапожник в засаленном фартуке.

– А тебе што за дело?

– А то, не дерись понапрасну.

– Ты што за учитель?

– Я учитель!

– Учитель?

– Учитель!

И заварилась каша.

– Черти! За что вы полощетесь? – кричит седовласый приказчик.

– А вот мы тебе покажем, как ругать нас! – отвечают молодцы, сообщая накидываясь на приказчика.

За приказчика налетают половые, и вообще в этот трагический момент «Крым» сделался каким-то еще не записанным в истории царством, густо населенным, вместо обыкновенных живых существ, неслыханною руготнёю, многообразными потасовками и зуботычинами.

– Бежите за полицией! – командует при-

казчик половым, очевидно, проигрывающим битву.

– Убегём, братцы! Полица сейчас налетит! – кричит толпа, быстро направляясь к двери.

Восходящее Солнце и я отправляемся по ее следам.

Освеживший меня уличный воздух окончательно погасил Восходящее Солнце.

– Кто идет? – спрашивал нас соседний будочник.

– Табак! – почему-то отвечал будочнику сей многоуважаемый литератор, с заметным наслаждением расквашивая себе нос о тротуарную тумбу...

Примечания

Один из московских тракторов. (Прим. А. И. Левитова)

[^^^]

Печатается по изданию: «Жизнь московских закоулков», изд. 3-е. М., 1875, с. 110—145. Впервые опубликовано в журнале «Зритель», 1862, NoNo 47 и 48. Подпись: *Иван Сизой*.

[^^^]

3

Калибер – рессорные дрожки.

[^^^]

4

Жолниржи (польск.) – желнёры – ратники, солдаты.

[^^^]

...о таких общественных ранах я буду заявлять... о которых до сих пор не плакал ни Николай Филиппович Павлов, ни наш тамбовский гегелиянец фон-Чичерин. – Вышедшие в 1835 году «Три повести» Н. Ф. Павлова (1803—1864) имели успех у демократического читателя благодаря их социально-обличительной направленности.

Б. Н. Чичерин (1828—1904) – историк, юрист, общественный деятель – в конце 1860-1870-х годов (после ухода из Московского университета) работал в Тамбовском земстве. В своих исторических и политических работах, выступая как идеолог монархического государства и «прусского» пути развития капитализма в России, он опирался на реакционные положения правого гегельянства.

[^^^]